

Андрей СЕРГЕЕВ

БРОДСКИЙ пришел ко мне на Малую Филевскую в начале 1964-го. Открываю дверь, вижу — стоит рыжий-рыжий пафос. Широкоплечий, здоровенный, внушающий доверие. Сует крепкую сухую ладонь — покаж одно удовольствие.

До этого о Бродском я слышал сколько угодно. Фатально и довольно долго избегали меня его стихи. Сам я никаких усилий не делал, потому что хорошее — придет само. В Паланге в 1963-м Найман похвалился, что у него с собой Бродский. Я тут же получил пухлую пачку листков и пошел на днюху читать.

Два часа читал под елкой — устал. Но все стало совершенно ясно: вот новый, ни на кого не похожий, крупный, замечательный и очень близкий мне поэт. И, естественно, я спросил:

- Толя, а какой он, Бродский?
- Такой чухлый еврейский росток.

Ничего себе чухлый росток! Мы прошли в комнату. Я усадил его на свою любимую качалку, слово за словом пошел разговор. Иосиф был по делу — Ахматова дала ему мой телефон: Иосифу хотелось попереодить что-нибудь чисто. Читыми тогда считали переводы с западного языка и непрогрессивного автора. Говорили мы о деле и, конечно, не о деле — часа два.

Пришел он ко мне утром в тот день, когда собрался в Ленинград. Было как-то известно, что его должны посадить. И Анна Андреевна, стараясь его охранить и хорошо зная нравы, советовав ему задержаться в Москве, потому что дело местное, ленинградское, придет кампания — забудется. Но зов, который сильнее всякого разума, требовал его пребывания в Питере. Через день или два там его и забрали. А потом был суд — он описан у Фриды Видторовой, потом — Норенское.

Предмет из прошлого

Переписке уже год с хвостом. Письма его замечательные — мужественные сетаования и очень много конкретики. И вступать письмо совершенно смьятенное.

...Детские, старческие, женские — говорите Вы — поступки. Можно было бы пошутить насчет пола и возраста одновременно. Но, знаете, скучно. «И не такие, как я...» — уес, барин — не такие. Теперь, знаете, после смерти Фриды Видторовой мне что-то больше не хочется биоавтобиографии — тем более, что мне-то самому этого и не нужно. Тем более, что я — еврей.

Андрей, сеюдня я праздную твоя. Стихи у меня не пишутся, и я обнаружил, что не хочу их писать. И что, когда я их не пишу, я — ничто. И что, значит, безразлично ко мне как естественно. Причем же слабые решения — мы, которые сами учил других мужественно. Одно уже приятно: письмо Вам. Скажу по секрету: я похож на Браунинга. Я хотел дотянуть до его возраста, но теперь — ливает. Знаете, как узнаешь, что ты уже стар? Это когда твои конвоиры молчат. В Вологде мне тыкали автоматами в рожу двадцатилетние мальчишки. Мирова, скажу Вам, тема. А теперь — проходите. Я не очень хорош сегодня и завтра, будет, буду еще хуже. Чертовски хочется поболтать с вами, сидя в кавалке. У меня ничего не осталось, даже формальных привязанностей. О Вас думать приятно. Знаете, долго занимаюсь собой, устраивая все в себе, помнею дичаешь. Верней, становлюсь инородным телом, и на тебя начинаю действовать все эти мировые законы: смежте, вытеснение ес. Старая мысль, но такая горькая. Нечего Вам писать, но поэт я (был?) хоросший...

Получил Иосиф мой ответ или нет, не знаю. Но через несколько дней он вдруг свалился мне на голову. Анна Андреевна и не только Анна Андреевна ждали его в Ленинграде, но он в Ленинград на сей раз не стремился. Дни наши протекали таким образом. Часов в десять пьем чай, потом обсуждаем весь мир и окрестности. После обеда разговор продолжается. После ужина минут пятнадцать — полчаса Би-би-си и опять разговоры — до 12. Я с вот такой головой дождлся. Но самое замечательное, что Иосиф мог говорить сколько угодно, никогда не повторялся и никогда не скатывался на какой-то недостаточный высокий для него уровень. (Был у Иосифа черныи момент в биографии, когда он слал из ссылки рифмованный рыцарский роман — вот это было за пределами добра и зла.) Я плохо переношу присутствие постороннего человека в доме. Но с Иосифом было легко, очень легко. Никаких закидонов, никаких претензий. Ну, конечно, способствовало то, что я его просто обожал. Несколько недель прошли абсолютно мирно, любовно.

25-летний Иосиф пришел ко мне, имея законченное представление о русской поэзии. Как и обринута, ему не мог не импонировать не-

тронутый пласт поэзии XVIII века — Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков. Он любил идею оды, длинно-го стихотворения, ему нужны были их полноречие, громоздкость, он сам так писал. Он делал лирическое высказывание на 200-300 строк, и это вызов поэтике XIX — начала XX века, когда культивировалось стихотворение строк на 20-30. И никогда не многословие.

Александр Сергеев был, конечно, хоросший и на языке постоянном. Но больше все-таки Иосиф любил Баратынского, так и говорил: «Баратынский — мой любимый поэт».

Иосиф безмерно восхищался Ахматовой, хотя говорил, что ее стихи ценит меньше, чем ее саму. Цветаеву восхвалял при всякой возможности, наверно, видел в ней мотор, работающий на соизмеримом числе оборотов те же 24 часа в сутки. Придавал несвойственные ей черты: необыкновенный ум, мудрость, видит на сто верст в глубину и на сто лет вперед. К моему любимому Пастернаку отношение у него было напряженное. Бездоказательно предположил: его настораживало, что теми же чрезвычайными средствами, какими Цветаева вызывала вихрь, Пастернак устанавливал ясную погоду. Для отбоя же Иосиф говорил, что терпеть не может пересказов евангельских сюжетов в стихах, имея в виду стихи из романа, — ну, и блистательно опроверг это позже собственными стихами.

Проза ему, по-видимому, была нужна мало, о ней практически не говорили. Как Анна Андреевна, Толстого не любил. Федор Михайлович вроде как старший товарищ, из своих.

Американская проза его не увлекала. Не могу себе представить его отпадающего от Хемингуэя, модной фигуры, необходимой в бытовании шестидесятников. Позднее его восхищали переводы Голышева из Фолкнера, которые, как он говорил, обновили русский литературный язык.

Иосиф говорил, что обожает джаз, что иностранцы нанесли ему джазовых пластинок; утверждал, что лучше всех в Ленинграде знает Моцарта — хотите верить, хотите проверять.

Иосиф зачастил в Москву, оставив сестроания и очень много конкретности. И вдруг письмо совершенно смьятенное.

В ранних домах, при любом стечении публики много читал свое. Начиная от обычного своим голосом, отрубав строку от строки по живому мясу анжамбенов, разгеревался от строки к строке, повышал голос до крика — куда испугнее, чем видно по поздней хронике. И эта испуганность была как в маленькой комнате, так и в большой аудитории.

В Москве Иосифа очень скоро повезли к Належе Яковлевне Мандельштам. Он принял ее на ура — и саму, и книгу. Захлебываясь, с восторгом, с улыбкой: «Самая веселая вдова в мире». Н.Я. говорила про Иосифа нежно: «Оса второй, Оса младший», что не мешало в другой раз сказать: «Обыкновенный американский поэт».

И у Н.Я. и в других домах, куда ходил Иосиф, собиравшее общество. Общество бывало разное. Когда про Иосифа говорили «великий», ко-го-то это скандализировало. Даже многие из тех, кто потом пол Иосифу дифирамбы, тогда смотрели на него как баран на новые ворота. Но и при нормальном понимании, и без понимания к нему относились с открытой душой. Нелзя сказать, что всюду он сразу попадал в центр внимания. Конечно, он много и замечательно говорил — хотя все-таки это был не тот блеск, какой в общении с глазу на глаз.

В открыто дружественных домах Иосиф был сама ласковость. Когда ласкали его, он почти мурлыкал и мог сказать такое, что прямо противоречило его обычным словам и утверждениям. По-моему, Иосиф чрезвычайно зависел от собеседника, иногда чуть ли не попадал в рабство — на десять минут, полчаса. Но вот уже, развивая тезис или отвечая, он вскидывал голову и в составленно-мечтательно наклонении выдавал что-нибудь безапелляционно. К тому же в характере у него был дилатизм, и самые невинные вещи он мог выговаривать четким вразумляющим тоном.

При мне Иосиф редко бывал спорщиком, врагом собеседника. Только однажды я видел, как он убивал. Столярова, секретарша Эренбурга, пригласила Иосифа и нелепо соединила с литературоведом Пинским. Кончилось тем, что Пинский выкрикнул:

- Пастернак, Ахматова, Заболоцкий — я бы хотел, чтобы они умерли в 29-м году!

Иосиф, выдержав хоросшую театральную паузу, с нажимом спросил: - А о чем они писали после 29-го года? Пинский сказал, что он так не может. Иосиф нравоучительно-назидательно: - А я могу. После 29-го года они писали о Боге. Вам это не нравится? Иосиф не был профессиональным остряком, хотя часто бывал шутилым. Иной раз, бражнуху что-ни-

Когда-нибудь, задумавшись о первой годовщине без Бродского, исследователь его творчества благодарно помянет 1996 год, отозвавшийся множеством мемуарных публикаций. Велико благо все-таки, когда «нужно» и «можно» не исключают одно другое. Ценность этих свидетельств, даже таких — первых, ранних, — высока, качество их — скорее всего, положительное. Ведь пишущий не может не чувствовать ревнивого контроля со стороны здравствующих и тоже дружных с пером «подельников» (его обозначение пишущих друзей).

Значит, есть некоторая гарантия точности в фактах и взвешенности в оценках. Иначе можно авторитетной дружеской рукой посеять семена «мифологии» Бродского, и потом будет куда как трудно вышлушить его настоящего. Впрочем, какой бы то ни было канонизации он вряд ли поддастся, а пока ему вообще рано становиться биографическим героем: еще длятся отношения с его нынешними мемуаристами, еще тлеют бывлые недоразумения, еще укрываются за инициалами иные участники этой ярко прожитой жизни.

Второй раз в эту скорбную годовщину мы видели на экране живого Бродского в фильме «Никотуда с любовью» Е. Якович и А. Шишова. По сравнению с их прошлогодним фильмом («Прогулки с Бродским») здесь меньше «судьбы», но больше «биографии». Здесь питерское детство, родители, военно-морской музей и занятия фотографией — все это дорого и мило знать о человеке, еще при жизни ставшем легендой. Даже горькая страница жизни — северная ссылка («по колелю в этом самом») — даже она согрета славными лицами и разговорами горящих об И.А. старух («Зачем же так поздно о нем хватились?»). Авторы фильма дали слово и первому публикатору стихов Бродского в конюшской газете «Призыв» — по тем обстоятельствам, человек совершил нормальный поступок, всего-навсего мысля здраво («по-тогдашнему»): «Если текст не антипартийный, то ничего страшного». Из деревенского его существования в память западает: «Меня здесь всему научили» — почти благодарно... «Только с горем я чувствую солидарность», — зарифмует он в стихотворении 1980 года.

Воспоминания Андрея Сергеева — во времена Бродского лучшего переводчика англо-американской поэзии, а теперь и буковровского лауреата 1996 года — из тех свидетельств, которые, как и фильм, сохраняют образ домифического Бродского, того, о котором его друзьям меньше всего хотелось бы писать смертные мемуары. Полностью они будут опубликованы в журнале «Знамя», №2, в продолгающейся рубрике «Труды и дни Иосифа Бродского».



Нора Мусатова. Портрет Иосифа Бродского

# На полпути к погребению и славе

Иосифом: за Иосифом стояла Анна Андреевна. Евтушенко, обвала гитарными чутъем, сразу звал его к себе и стал хвастаться живописью Юрия Васильева, потом — собой: «Что вы обо мне думаете?» Иосиф сказал: «По-моему, Женя, вы говно». Евтушенко в истерике грохнулся на пол: «Как можно при моей жене!» Это расказ Иосифа.

## Бег времени требует жертвы

На лотке перед собой он никогда не держал самоуважение. Всегда отзывается о себе и о своих стихах скорее с юмором, говорил «стишки». Но, конечно, знал себе цену. Неприятие и без понимания к нему относилось с открытой душой. Нелзя сказать, что всюду он сразу попадал в центр внимания. Конечно, он много и замечательно говорил — хотя все-таки это был не тот блеск, какой в общении с глазу на глаз.

В открыто дружественных домах Иосиф был сама ласковость. Когда ласкали его, он почти мурлыкал и мог сказать такое, что прямо противоречило его обычным словам и утверждениям. По-моему, Иосиф чрезвычайно зависел от собеседника, иногда чуть ли не попадал в рабство — на десять минут, полчаса. Но вот уже, развивая тезис или отвечая, он вскидывал голову и в составленно-мечтательно наклонении выдавал что-нибудь безапелляционно. К тому же в характере у него был дилатизм, и самые невинные вещи он мог выговаривать четким вразумляющим тоном.

При мне Иосиф редко бывал спорщиком, врагом собеседника. Только однажды я видел, как он убивал. Столярова, секретарша Эренбурга, пригласила Иосифа и нелепо соединила с литературоведом Пинским. Кончилось тем, что Пинский выкрикнул:

- Пастернак, Ахматова, Заболоцкий — я бы хотел, чтобы они умерли в 29-м году!

стретиться — вместо «добрый день» говорят «кого послали!». Около того времени не раз назидательно: — Андрей Яковлевич, запомните, если меня снова посядет, прошу, чтобы за меня никто не хлопотал. Так ведь и говорите, таково моя воля, это мое персональное дело.

Тема выезда в широкий свет никогда не была темой для разговоров. Совершенно ясно, что каждому из нас хотелось поглядеть мир. Здеешнее Иосиф все переосметил — в геологических партиях, на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, на Кавказе, в Прибалтике, в Средней Азии. Чего и кого только не насмотрелся в Москве, Ленинграде. Ленинградцы расказывали, что, придя в гости, Иосиф сидел, как на шпале, и думал: вот сейчас бы сбежать туда, там, может быть, лучше, — но и там повторилось то же самое.

Иосиф хотел не уехать, а ездить — уезжать и возвращаться. Весной 1968-го предпринял нелепую попытку. Раз-два у меня на кухне как бы между прочим сказал, что надо сходить в ПК и поговорить. Потом, что уже сходил — и сказал референту, что мог бы лучше друзей представлять страну за рубежом. Не дурак референт записал его на прием к Демичеву. И пошел, и текст были настолько непохожи на Иосифа, что за ними выдавался подкачка какого-нибудь либерального прогрессиста. В назначенный день на той же кухне я сказал Иосифу, что он никуда не пойдет. Иосиф был предельно нацелен на визит — но все-таки не пошел.

Иосиф шел на обострение. Сознательно — или самим фактом своего существования. Власть не могла не оскорблять всем, что он делал: работал, бездельничал, гулял, стоял, сидел за столом или лежал и спал.

Только что он был в Ереване, в первой машине ехал с академиком, во второй, открытой, везли охапки цветов. По возвращении в Ленинград сразу Большой лом: — Убирайся, а то за себя не отвечаем! Говорят, заранее посовещались с популярным поэтом. И израильская виза наготове. И необходимо ехать на бессмысленную волокуту в Москву. Я видел в окно, как он шагал по нашему двору, — плечи высоко подняты, голова втянута, — шагал чутунной походкой грузчика. Ночевать остался у нас на Звездном. Много говорил; напоследок, почему-то, не сразу начав от смеха, прочитал «Чучело перелетки». Не нажимая, сказал, что сделат изгнание своим персональным мифом.

## Жизнь нужно начать сначала

Дальнейшее знакомство в письмах. Машина вроде бы прежняя. Анн-Арбор. ...Святофранциский шикарен, прекрасен, похож на Владивосток и Севастополь, расположен на семи, кажеется, холмах, столько крутых, что будь я существом четвероногом, одна пара конечностей была бы короче другой. Подниматься и опускаться жутковато — пешком, а тем более: в автомобиле. Благодаря чему (не хотите ли) здесь и не бывает снега. Потому что, если бы выпал снег, месту ему пришел бы ...издеи. По причине тяготения моих камрадов (Профферов — А.С.) к люксовости, был поселен на надиком этаже Марк Хопкинс Отеля, откуда открывается вид, за который действительно следует платить валютой. У меня в таких местах обычно возникает ощущение какакой-то гротеска: я и это... Я только хочу сказать, что главный в семье как бы между прочим сказал, что там более Леву, но Джемзеф, соорудивший Голден Гейт. Сукой будь, ест на что посмотреть. И вообще я считала, что город, желая быть великим, должен иметь: выход к океану, уникальные бридж или чопи и китайский город, по которому вечером идешь, как по электрическому винограднику, и запахи бросаются в лицо, как цветы...

В Мичигансе, естественно, зима, и это приятно вернуться в систему четырех времен года. Которая — система эта — есть единственная для меня реальность. Кроме, конечно, дня и ночи. Все остальное выглядит прилизательно и временно и не рождает (а может и не требует) серьезного респонс; так что чувства мои как бы дремлют. Что — мучительно. Имеет место только физическое уставание и физический же отдых. Я бы пожалежал еше, но на таком расстоянии Вашу желетку не промочуши. Жизнь моя проста, незамысловата. Два раза в неделю происходят семинары; по понедельникам и средам. В 10 утра для гражданств (дипломников) — русски, в 4 часа полудни — для андерградоэств, сиречь просто студентова <<...> по-американски. Этот второй, конечно, есть комбинация моей налости и ихней терпимости, но чего-то толкового получается. Заставляю, например, независимо от возраста и пола, учить стишок на память. Ну и объясняю, как могу, что к чему. Думаю, что дождит. Вечером — возвращаюсь в свой пустой дом, пытаюсь чему-то сочинять. Иногда — да, чаще — нет. Готовлю, убираюсь, смотрю телек; когда нервы позволяют — читаю. Два два в месяци — минимум

От руки на открытке. Нью-Йорк. ...есть такая часть света (того) — Инфракраска. Был там тридэщ <<...> — что Вам сказать за пейзаж? Много, конечно, белого; но еше больше красного и черного — совершенно, абсолютно вне-стендадевоего пошиба. Если вернусь на кружи своя — в чем далека (а может и не требует) серьезного респонс; так что чувства мои как бы дремлют. Что — мучительно. Имеет место только физическое уставание и физический же отдых. Я бы пожалежал еше, но на таком расстоянии Вашу желетку не промочуши. Жизнь моя проста, незамысловата. Два раза в неделю происходят семинары; по понедельникам и средам. В 10 утра для гражданств (дипломников) — русски, в 4 часа полудни — для андерградоэств, сиречь просто студентова <<...> по-американски. Этот второй, конечно, есть комбинация моей налости и ихней терпимости, но чего-то толкового получается. Заставляю, например, независимо от возраста и пола, учить стишок на память. Ну и объясняю, как могу, что к чему. Думаю, что дождит. Вечером — возвращаюсь в свой пустой дом, пытаюсь чему-то сочинять. Иногда — да, чаще — нет. Готовлю, убираюсь, смотрю телек; когда нервы позволяют — читаю. Два два в месяци — минимум

Жизнь моя проста, незамысловата. Два раза в неделю происходят семинары; по понедельникам и средам. В 10 утра для гражданств (дипломников) — русски, в 4 часа полудни — для андерградоэств, сиречь просто студентова <<...> по-американски. Этот второй, конечно, есть комбинация моей налости и ихней терпимости, но чего-то толкового получается. Заставляю, например, независимо от возраста и пола, учить стишок на память. Ну и объясняю, как могу, что к чему. Думаю, что дождит. Вечером — возвращаюсь в свой пустой дом, пытаюсь чему-то сочинять. Иногда — да, чаще — нет. Готовлю, убираюсь, смотрю телек; когда нервы позволяют — читаю. Два два в месяци — минимум

надиати, Иосиф сказал очень авторитетным тоном: — Андрей Яковлевич, олиннадцать часов, пора спать, вы еше не знаете, что такое jet lag [реакция на быструю смену временных поясов после самолета. — А.С.]. Ложитесь, завтра утром мне в девять звоните. И приходите, мы вас ждем. Имелся в виду Иосиф и его кот. Эту фразу я слышал много раз за те немногие дни, что был в Нью-Йорке.

Назавтра утром, когда я ему позвонил, он мне сказал, что лучше всего прогуляться пешком. По-российски подробно объяснил, как к нему пройти, как найти. Дорога заняла не меньше двадцати минут. Я получал полное удовольствие от уютного Манхэттена. Поднялся на крылечко, как мне было сказано, позвонил. Иосиф снял голову выскочил из своего полуодула по довольно-таки крутой лестнице с резцов польского улана и с неомоотрительностью такой же. Бурно, динамично провел меня в свою гостиную, усадил.

Какой бывает разговор при первой встрече — разбгаоающийся. Он не расспрашивал о нашей политической обстановке, он ее на удивление хоросшо представлял. Про Америку — до выборов оставался, что ли, день, — сказал.

— Знаете, я был в Белом доме. Буш — это последний патриций. Дальше будет все попроще.

Мне нужно было отделиться в Пен-центр, сравнительно недалеко, в Сохо.

— Пойдемте, я вас провожу. Погода восхитительная — теплая благодатная осень. Мы шли по умнротворенному Нью-Йорку, я наслаждался курортным воздухом — на авеню с машинами чудесной освещающей морской бриз. Прошли несколько кварталов, Иосиф остановился у хот-догшика, съел хот-дог, с чувством сказал: — Вот моя основная еда здесь — как там пельмени. И назавтра в девять я должен был непременно позвонить. Опять: — Мы вас ждем. Накануне мы с ним скакали с пятного на десятое, сейчас это было довольно размеренно обо всем.

Иосиф говорил со мной с милой открытой душой, но за словами я ощущал такой охват, какого у меня не было. Он сильно возмужал, вырос, за ним стояла Америка. Но и этот разговор — по-прежнему обмнмнений, ником образом не спор. Дошли до его нью-йоркских знакомых. Он говорил, что в очень хоросших отношениях с поэтом Энтоном Хектом. Но в друзьях и «по корешам», что для Иосифа разные вещи и очень сморазличимые, с Дерекком Уолкоттом:

— Замечательный человек, вокруг него всегда что-то интересное происходит.

Жаловался, что «в Америке не с кем поговорить», что лучший собеседник на высокие темы был Роберт Лоуэлл, да и тот умер. Про Олена Гору говорил с замнранием; с пинетом — и даже похвастался:

— Знаете, кто поставил мемориальную доску на его доме? Ваш покорный слуга! И естественно возник вопрос, который не мог его не мучить и который я неоднократно задавал себе сам и поэтому был готов отвечать: приехать или ему или не приехать. О возвращении в Россию речи быть не могло, только — «приехать или не приехать». Я твердо высказал свое выношенное, не в налету мнение, что приехать ему ни в коем случае нелзя, потому что его живым не выпускают. И друзья, и враги респостарот на куски, как менады. По удовлетворенной реакции было видно, что он хотел услышать именно это, поддержку своего собственного желания ехать. Его душа была неспокойна, и я, как, вероятно, многие, утверждение помогал ему закрыть тему.

Всюду во всем я видел и узнавал Иосифа. Америка его преобразовала. Он превратился в нью-йоркского нобия. Появилась влучившая предупредительность англосакса. Он научился формальному искусству общения, стал милее улы, нервности и шероховатости. Но и все лучшее из прежнего было на месте.

На оброчном пути я три дня жил в Нью-Йорке у Аллена Гинсберга. И снова к Иосифу заходил. На эти дни пришлось усыпительный День Благодарения, когда все закрыто и идетя некуда, а вечером обязательно тысячи в гости и ест индейку. Иосиф повел меня к своим друзьям-американцам: — Они замечательные люди. Только, Андрей Яковлевич, это не Россия — будет скучно. Болше в Америке я не был. Хотел Иосифу что-то сказать, пригбегал к почте — как и раньше. Только узнав о его женитьбе и потом о рождении дочери, на радостях звонил. Иосиф позванивал, разговоры его начинались так, как будто продолжались со вчерашнего дня, — о его путешествиях, передвижениях, самодуствии, кто что читает и т.д. В декабре 1995-го бравурно и почти жалобно: — Трудно стало одолеть расстояние этак с длиной фасада...